

Дмитрий Новиков
Муха в янтаре

Ранним утром 1987 года, когда солнце еще только обозначило лучами свой царственный выход из моря, когда легкий плеск волн о борт тяжелого авианесущего крейсера лишь оттенял лежащую кругом тишину и умиротворенность, внезапно затарахтел мотор баркаса, до этого мирно спавшего у правого борта корабля. Вслед за тарахтением проснулись другие звуки: легкое, как перезвон колокольчика, позвякивание цепей, мягкий неровный шорох кранцев, скользящих по влажному от росы железному подбрюшью, потом глухой толчок интимно прильнувшего щекой катера, топот ног, отрывистые и, как всегда, бессмысленные слова команды. А на деревянную палубу спрыгнули с трапа пять матросов и младший офицер медицинской службы в чине лейтенанта.

Матросам было по двадцать лет, и вид у всех заspanный и недовольный. В темных робах, нахохлившись как воробьи, они хмуро сидели на корточках у теплой переборки машинного отделения и курили.

— Военные билеты с собой? — голос лейтенанта был по-утреннему бодр.

— Да на кой хер они нужны, мы ведь не в увольнение идем, товарищ лейтенант, — ответил за всех единственный из матросов, облеченный минимальной властью — двумя желтыми лычками на погонах и поэтому обязанный первым вступать в переговоры с начальством, старшина второй статьи Кротиков. Обладая явно северной внешностью — топорные черты лица, белесые ресницы, светлые жидковатые волосы, — он втайне был прозван товарищами Пеккой, однако из-за упрямого и непредсказуемо злобного норова впрямую называть его так они побаивались: мог и ответить обидно.

— И вообще, взяли бы лучше молодых грузы грузить, мы-то уже натаскались за службу, полгода до приказа осталось, — лениво сказал матрос Турта, в просторечии Туртенок, выбрасывая хапчик за борт и потягиваясь.

— Да молодые поразбегаются тут же, не уследишь за ними. Вы же опытные воины, — неумело польстил лейтенант, но энтузиазма его слова не прибавили. Было офицеру за двадцать пять, и фамилию он носил неправильную — Миренков. Каждый раз, когда кто-нибудь из матросов называл его Меринковым, он обижался и заставлял исписывать несколько страниц единственным словом — Миренков, Миренков, Миренков ... — но тем самым еще больше закреплял свою кличку — Мерин.

Матросы хмуро смотрели на темную полосу приближающегося берега и молчали. Целых девять месяцев они были в море, и теперь земля одновременно манила и отталкивала их. Очень хотелось ступить ногами, лучше босыми, на неровную, бугристую живую поверхность, так отличающуюся от бездушной гладкости железной палубы, посмотреть на лица людей не из узкого круга корабельного общения, и потому незнакомые и таинственные. Но берег и пугал, как, наверно, когда-то пугал он экипаж Колумба своим разнообразием, своими полузабытыми законами и отношениями, непредсказуемостью действий своих обитателей. Матросы знали множество легенд про трехголовое, недружелюбное чудовище — Патруль — с передней головой офицера и двумя охраняющими тыл придатками — головами мичманов или курсантов. В любую минуту нахождения на берегу этот земной Горыныч мог незаметно подкрасться и сладострастно наброситься на не успевших вовремя и добровольно отдать честь, растерянных и потому слабых обитателей моря. По слухам, местный вид Патруля особенно любил измерять спичечным коробком расстояние от нижнего края брюк до асфальта и безошибочно, с опытом бывалого кутюрье, отличал сшитые на кораблях клеши от уставных straightes. В

этих печальных случаях моряков, уже обесчещенных, он лишал еще и свободы суток на трое и отправлял в каменные лабиринты Губы. Удивительно, насколько каждая новая степень несвободы делает предыдущую желанной волей со всеми ее атрибутами: мягкой шконкой¹ в знакомом кубрике, навсегда затвержденным распорядком дня, неизменным меню камбуза. В этом, видимо, и есть тот принцип недостижимости счастья и всех состояний, с ним связанных: свободы, любви, ощущения полноты жизни. Лишите человека того, что он имеет, и в тот же миг он поймет, что еще минуту, еще секунду назад был счастлив. Пусть даже то, что у него отняли, — лишь закованный в рамки устава образ жизни...

1 Шконка — койка.

Баркас подошел к новому бетонному причалу, когда уже совсем рассвело. Матросы со своим командиром сошли на берег и расположились неподалеку в ожидании грузовика. Им предстояла тяжелая и неприятная работа — получать на складах имущество для медицинской службы, все эти отвратительные и дурно пахнущие двухсотлитровые бочки с карбофосом и хлоркой. Пока же они наслаждались каждой минутой покоя. Лейтенант, в отглаженной желтой рубашке, в неуставной шитой фуражке с высокой тульей молодым петушком поглядывал по сторонам. Всего год назад закончил он институт, сразу попал на новый корабль и каждому повседневному заданию отдавался преисполненный служебного рвения. Вот и сейчас он беспокойно бегал по причалу, нетерпеливо поглядывал вдаль и ежеминутно размахистым жестом обнажал свой наручный хронометр. Подчиненные же его служили уже в два раза больше, чем он, и хорошо усвоили несколько пронзительных в своей немудрености истин типа “Матрос спит, служба идет”, — а поэтому со вкусом предавались утренней неге.

Два года назад они были такими же студентами, как и недавно обращенный в военно-морскую веру Мерин, служить начинали с задором, кое-кто был даже замечен в постыдном желании стать “Отличником боевой и политической подготовки”, но служба быстро расставила все по своим местам, и наказуемая инициатива плавно перешла во внешне безразличную покорность. Им, насильно призванным, было непонятно — как могут неглупые в общем-то люди добровольно выбирать военную службу, ведь даже сладкая возможность ранней пенсии не могла перевесить куражливого восторга свободной штатской жизни. “Раз-два, левой! Выше ногу!” — радостно орал порой Мерин на строевой подготовке, но в ответ мог легко получить ленивое: “Да пошел ты”, и матросы продолжали шаркать прогарами¹ по полетной палубе.

1 Прогары — морские ботинки.

Поэтому трудно было переоценить радость молодого лейтенанта, когда на корабль пригнали тучные отары новобранцев. Мерин самозабвенно шагал среди них, испуганных и беспомощных, панически боявшихся его громкого командного голоса, и выбирал персонажей с красивым почерком, чтобы вся наглядная агитация в медслужбе стала отныне беспрекословно изысканной.

Было южное утро, нагретый ласковым солнцем причал, пять живописных фигур на нем, которые, казалось, само небо обнимало, лаская своей теплой синевою, и строгий, подтянутый Мерин, отринувший благолепие хрупкого момента и канонически марширующий вдоль бетонной кромки, сам себе подающий различные команды. Меж тем картина мгновенно переменилась. Виной тому был Компа, самый аккуратный из эпикурейцев. Извечная хохляцкая беспокойность не давала ему долго находиться в

бездействию, и, побегав немного по ближайшим окрестностям, он вернулся с вестью, которая моментально согнала ленивую негу с его сослуживцев. Оказалось, что вблизи от причала, совсем рядом, есть небольшой пляж, уютно примостившийся за каменным парашютом. И, несмотря на ранний час, он уже полон местными любительницами утреннего солнца различных возрастов и расцветок. Куда подевались недавняя лень и вялость! Через секунду пять молодых, поджарых гончих псов уже мчались к парашюту и остановились там, замерев и приняв стойку, неподвижные, только слюна капала с восторженно свесившихся языков да бока вздымались взволнованно. Они стояли, обжигая и лаская взглядами прекрасные тела, волнующиеся под цветными тряпочками перси, округлые животы и стройные золотистые спины, тонкие щиколотки и запястья, ладони, которые, нежа и лаская, втирали крем в самую прекрасную на свете ткань — молодую женскую кожу, и особенно там, на внутренней стороне бедер, так близко к лону, где нежность становится настолько тонка и еле уловима, что легко переходит в противоположность свою — силу и страсть. Так, вождедея и наслаждаясь своим вожделием, смотрели матросы, а жеманницы смущались под их взглядами и принимали самые волнующие позы, наклоняясь удачно, потягиваясь, прогибая спинку и приподнимая задок, с грацией вот-вот готовой сорваться пружины...

Никто не знает, каким словом можно назвать это чувство — чувством памяти ли, физиологическим ли ощущением проходящего сквозь тебя времени. Почему некоторые, порой самые незначительные моменты жизни запечатлеваются в мельчайших подробностях, вплоть до ощущения теплого морского ветерка на лице, и дарят потом, через много лет, целительный восторг полноты, незрешности жизни. Происходит это на уровне даже не подсознания, а низших рефлексов, присущих насекомым. Так доисторическая муха, избегнув во время полета жадных клювов, беспечно садится на каплю солнечной смолы и внезапно понимает, что увязла лапками и не сможет больше взлететь. Но одновременно со страхом и жаждой выжить любой ценой чувствует всю вязкую сладость внезапной обездвиженности, одуряющий запах смолы, воздух тербит еще живые крылья, и, после отчаянных попыток освободиться, замирает, предчувствуя погружение в жидкий кусок солнца. Уже приятно и горячо слипаются волоски на брюшке, и, наконец, последний вздох, последнее, судорожное движение еще сильного тела, блики света, оранжевая, рыжая, коричневатая-красная прозрачность будущего янтаря и выражение неосознанного счастья на мушином лице, потому что в последний момент всегда появляется знание — смерти нет, а есть лишь окружающий тебя невыразимо прекрасный мир, и ты в нем пребудешь вовеки, совсем не важно, в каком качестве... Так и странные моменты в жизни человека, когда всё — молодость, здоровье, любовь, легкая обездоланность, придающая остроту всем прочим чувствам, пронзительное осознание того, насколько это непрочно и быстротечно, — сплавляется в золотистую смолу и застывает где-то глубоко в мозгу, постоянно тревожа и помогая жить во времена серой озлобленности, истощающей душу постоянным, знобким жжением.

— Машина пришла, быстро в машину, бегом марш, я кому сказал, матрос Турта, — ко мне, — истошные вопли с трудом прорезались сквозь ежевичное варенье захмелевшего сознания.

— Быстро, быстро, ребята, опаздываем, суки вы, — метался раскрасневшийся и вспотевший офицер, за руку отводя каждого из матросов от парашюта к грузовику, податливых, но непослушных, с размягченным туманным взором.

Наконец погрузились и поехали. Потряхивало на ухабах, и постепенно проходил хмель, а на его место поднималась темная злоба на лейтенантишку.

— Мерин поганый, весь кайф сломал, — волновался Туртенко, потрясая кулаком в сторону кабины и аккуратного затылка под фуражкой.

— Сука, пидор, — он не стеснялся в выражениях, зная свою неслышимость за ревом двигателя, а остальные сидели вдоль борта и согласно слушали, все еще улыбаясь растревоженно.

— Классные телки были, — подал мечтательный голос матрос Горский, в хрониках упоминаемый как Лягуш, крепкий уральский парень, степенный и рассудительный. Был он, однако, слишком, до тюфячной мягкости, незлобив, иначе обладатель зеленого пояса по карате ни за что не стал бы отзываться на обидную кличку. Получил же ее вполне случайно, как, впрочем, всегда рождаются клички. Стояли как-то матросы на полетной палубе корабля на построении и, ежась от морской осенней промозглости, мечтали о том, как минут через десять залягут в полном составе в свои уютные шконки, ибо была такая привилегия у них — вместо различных судовых работ, дабы не повредить нежные руки, вонзающие шприцы в просоленные военно-морские задницы, отсыпаться в свое удовольствие, за что и не любил их весь остальной экипаж. Горский предвкушал сладостный миг активнее других, переступал с ноги на ногу в строю, а затем повернулся к Туртенку и сделал самую роковую в своей жизни ошибку. Так бывает, когда несколько мыслей вертятся в голове, хочешь их побыстрее высказать, нужно бы одну за одной, а получается все вместе, в одном предложении, даже некоторые слова сплавляются в странных сочетаниях. Хотел он спросить: “Ты сейчас ляжешь?” — и одновременно поделиться заслуженной радостью: “А я лягу”. В итоге в тишине прозвучало громко и с достоинством: “А я лягуш!” Строй на мгновение замер, а затем дрогнул от хохота: “Вовчик — лягуш”. И уже было не отшутиться, не отмыться — пришлось ему навеки стать самопровозглашенным Лягушем.

— Да, телки будь здоров, вот бы впередолить, — заюлил Туртенок.

— Впередолить, впендюрить, вдуть, замочить шнягу, запарить шляпу, — затараторил Компа, чья миловидность и аккуратность внушали мысль о скрытых порочных наклонностях.

— Взнуздать сих киммерийских кобылиц, — внес свою лепту матрос Слонов, subtilный, но жилистый питерский прохиндей, любитель Гомера и словоблуд.

— Да ладно, парни, ведь не голым же сексом жив человек, — не вытерпел Пекка, помаргивая белесыми ресницами.

— Чего ты гонишь, чем же еще? — взвился Туртенок.

— Я думаю, страсть нужна, чувство какое-то, чтобы искра проскочила.

— Чайник ты, какая еще искра? — не унимался Турта.

— Ну вот, помните, я полгода назад был в “дубовке”¹.

¹ “Дубовка” — школа старшин ВМФ.

Притопали мы туда, человек пятьдесят с нашей коробки, все уже послужили, слава богу, а нам опять — строевая подготовка, уставы, борьба за живучесть, техника безопасности долбаная. Да я еще когда “карасем” был, всю эту науку за неделю выучил, благо учителя были хорошие: чуть ошибешься — по морде. Ну народ и стал сбегать с занятий, шхериться где попало. А мест-то шхерных не очень много: или на угольном складе отсыпаться, или на камбузе с поварами болтать. Там их мичманюги и отлавливали, и обратно на занятия — херню слушать. И была там библиотека, правда, матросов туда не пускали, а гансы¹ сами не ходили, так и пустовала постоянно. Я подошел к одному кап-три², мол, люблю книжки читать, отрекомендуйте, пожалуйста. Он и познакомил меня с библиотекаршей, дал разрешение посещать в свободное время. А я, естественно, с занятий туда сбегал, там меня никто искать не догадался, это же редкость великая — читающий матрос. Библиотекарша оказалась дамой лет тридцати, очень симпатичная и

неглупая. Ну и пошли у нас разговоры про Фолкнера, Кэндзабуро и Хэма. А она мне все больше про Феллини рассказывала, у нас ведь не посмотреть нигде, всякую муть в кино показывают, а классики — шиш. И вот “Амаркорд” она мне практически в лицах пересказала. Ходил я туда недели две, смотрю — что-то у нас завязывается, она моим шуткам улыбается, сама шутит, про жизнь свою рассказывает. А мне она тоже очень понравилась, и я подначиваю, ни о чем как бы не догадываюсь. Вот однажды позвала она меня в гости...

1 Ганс — офицер.

2 Кап-три — капитан 3-го ранга.

— Оттрахал? — выдохнули все разом

— Да то-то и оно, что нет. Я ж тогда год всего как женился, помните, и все носился с мыслью о великой любви и верности до гроба.

— Дурак ты, прости господи, такую бабу упустил, — сказал Туртенюк.

— В том-то и дело, что сам теперь жалею. Но, с другой стороны, знаете, эдакая незаконченность, недосказанность, чувство навсегдашней утраты, взгляд ее последний и мои переживания об всем — есть ведь какой-то особый кайф. А иначе потрахались — и все, разбежались. Впрочем, может, и не прав я, кто знает.

Слон на секунду задумался и выступил по своему обыкновению:

— Это как у Басё, кто помнит:

Есть особая прелесть

В этих, бурей измятых,

Сломанных хризантемах.

— Красиво говорите, собаки, — мечтательно пожевал губами Лягуш.

— Что, Вовчик, задело за живое, — засмеялся Компа, — вот у меня был случай, другое дело. Гуляю я как-то во дворе, а мне лет тринадцать всего было... — но тут вдруг грузовик резко дернулся и остановился.

— Вылезай, приехали, — лейтенант по дороге отмяк душой и опять кипел юношеским задором.

Машина стояла где-то за городом у проходной — маленькой каменной будки, а за забором тянулись склады, склады, склады.

— Стойте здесь, я быстренько, — сказал Мерин и гарцующей походкой направился внутрь. Но через пять минут вышел назад понурый:

— Опоздали, кладовщица на обеде, придется час ждать.

Шофер в кабине немедленно заснул на руле.

— Далеко не уходите, вот магазин продовольственный, я буду пока оформляться, и чтоб через час как штыки, как штыки!

Выбор в магазине был по-советски небогат.

— Возьмите тюльки копченой, ребятки, — пожилая продавщица глядела ласково.

— Да-да, тюльки два килограмма, две буханки черного и три бутылки крымского портвейну, белого, — решил за всех Туртенюк.

— Блин, сношать-то меня будут, если что, — пытался занять старшина, но демос быстро стал охлосом и подавил сопротивление сомневающимся.

Расположились они за углом, на каких-то ящиках, — и недалеко, и от злого глаза скрыты.

Разложили газеты, на них горой — тюльку, хлеб наломали кусками, а портвейн спрятали и отхлебывали потихоньку.

Копченая тюлька!!! И через десять лет каждого из них преследовал в воспоминаниях этот божественный вкус, этот вид маслянисто лоснящейся горки рыбешек, которые можно есть целиком, не чистя, и облизывать потом жирные, соленые пальцы. А после тюльки пресновато-родное ощущение черняшки во рту и сверху полный сладкий глоток крымского белого, а еще выше — палящее севастопольское солнце. У портвейна был вкрадчивый, успокаивающий вкус, сахару немного, а алкоголя ровно столько, чтобы сделать тебя счастливым через пять минут после первого глотка, а затем вести дальше по дороге блаженства, не отпуская, не понуждая особо к закуске, отвергая разносолы, но уж если есть под рукой копченая тюлька, черный хлеб и компания приятных тебе людей и это таинство происходит в обстановке южного лета со всеми его атрибутами — запахом степи и моря, свежим порывистым ветром, шумом прибоя, ревущего вдаль, и добавить ко всему еще то, что вам по двадцать лет, вы здоровы и веселы, полны надежд и упований, и печень выплескивает алкогольдегидрогеназу в кровь огромными дозами и не дает впасть в протрацию, оставляя опьянение на уровне философских бесед, то стоит ли удивляться популярности этого дешевого нектара на всех флотах.

Отобедали они с удовольствием. Покурили, кто курил. Постояли немного у машины, а лейтенанта все не было.

— Пойдем к морю сходим, — предложил Слон.

— А Мерин как же, вдруг вернется?

— Ничего, подождет, не барин.

Это был какой-то странный порыв. Идти было далеко, жарко, но всем вдруг нестерпимо захотелось к морю. И они пошли.

Степь была настоящей, такой, какой она обычно представляется жителям северных провинций империи. Сухая глинистая земля, множество каких-то колючек, которые нещадно цеплялись за одежду и мешали идти, сусличы норы, желтая, выжженная солнцем трава. Мимо проносились шары перекасти-поля, то большие, величиной с бурдюк вина, то поменьше, бледно-серым цветом своим напоминая лунные глобусы. Все они мчались в одном направлении, высоко подпрыгивая на пригорках, целеустремленно и неумолимо, как марсианская конница, и, докатившись до обрыва, с мрачной решимостью бросались в море.

Так же бесцельно и решительно шли по степи пять матросов. Пронзительный ветер трепал синие робы, сек лица песчинками и старался сбить с ног. Он был плотный и твердый, словно кнут, который, изгибаясь в воздухе, кажется таким мягко-эластичным, но в момент удара будто застывает мгновенно и превращается в карающую сталь. Ветер был кнутом шириной во всю поверхность тела. После удара он расслаивался, рассыпался на мелкие осколки и со свистом уносился прочь, чтобы через несколько секунд вернуться и ударить с другой стороны. Иногда он принимался дуть ровно, без порывов, навстречу, тогда воздух густел, становился вязким, и приходилось идти, будто разгребая кисель. В любом случае ветер пронизывал насквозь, несмотря на палящее солнце, и внезапно им показалось, что это и есть Время, которое мчится мимо и сквозь тебя с огромной скоростью, безостановочно, пробивая в телах и душах миллиарды дыр и унося с собой отлетающие обломки. И с каждой секундой тебя становится все меньше и меньше, и ты знаешь и постоянно чувствуешь это — пожизненные страх и боль, а за всем этим — черное небытие, и больше никогда, никогда, никогда...

Но в ответ ласково шумело море и переливалась волнами вечная юная земля: нет смерти, нет. Миллионы раз проходили они здесь, так же, как сейчас, здесь и везде, мучаясь теми же вопросами и наслаждаясь такими же чувствами, проходили, когда были рядовыми римскими солдатами и мечтали о черной похлебке и отдыхе на берегу после долгого перехода, оторванные от родины и молодые, полные радостных чувственных ожиданий,

тревожась от неизвестности неизведанного. Так же цеплялись колючки за стремяна, когда они скакали к морю на своих быстроногих скифских лошадях, и Туртенюк перепил кумысу и рассыпал стрелы по степи, а все остальные потешались над его нетвердой посадкой и бессвязными восторженными речами. Так же шли они к морю, забросив “шмайсеры” за спину, чтобы смыть с себя копоть многодневных боев, стараясь не думать об убитых своих и чужих, взяв наконец этот упорный проклятый город, и Пекка все гладил пальцами в расстегнутом кармане кителя фотографию молодой жены, а Слон пытался вспомнить, где он читал про Херсонес — не у Плутарха ли.

“Нет смерти, нет”, — стрекотали кузнечики. “Нет времени, ничто никуда не несется”, — вторили им раскаленные, струящие жар камни. “Великая Мать качает нас в своих нежных руках и ни за что не даст нам упасть”, — радостно пела какая-то степная пичуга, и белые облака согласно кивали своими крутолобыми головами.

Матросы дошли до обрыва и встали над морем строго и торжественно. Лягуш прочитал очистительную молитву и принес жертву Посейдону. “А вдруг смерти вообще нет или, если есть, она какая-нибудь не мрачная и ужасная, а смешная и глуповатая”, — сказал внезапно, ни к кому не обращаясь, Компа, и они разом оглянулись назад, где на другом конце поля комично подпрыгивала, размахивала руками и вопила что-то злобное маленькая фигурка в белой фуражке.

Прошел этот день, прошли многие другие. Парки пряли свои нити, каждому по одной. Лягуш стал примерным семьянином. Теперь самое яркое событие в его жизни — семейный пикник с шашлыками. Правда, к вящему неудовольствию жены, он иногда берет с собой банку тюльки в томатном соусе и съедает ее один в какой-то непонятной задумчивости. Слон достиг вершин медицины, теперь он профессор и умница, единственная его странность — необъяснимая страсть к рисованию школьными акварельными красками, причем рисует он в основном степные пейзажи в блекло-зеленых тонах. Компа дослужился до начальника аптеки, что-то хитрит по-прежнему, не женился, не родил детей, так и живет — одинокий хитрец. По вечерам старательно пишет книгу, никому не рассказывает, о чем она, но название хорошее уже придумал — “Город солнца”; правда, что-то подобное уже было у кого-то, и очень давно. Туртенюк после службы довольно быстро спился в своем Выборге, теперь бомжует, есть большой шанс умереть под забором. Среди соратников осуждаем за барскую привычку пить белый крымский портвейн, как только появляются деньги. Пекка же метался по жизни отчаянно, все искал какую-то истину, потом однажды, после второго развода, накиннул веревку на крюк люстры, наступил на спинку стула, и когда уже кровь бросилась в глаза красной пеленой и водоворотом закружилось сознание, в памяти вдруг всплыл яркий солнечный отпечаток обычного летнего дня, похожий на доисторическую муху, застывшую в куске янтаря с блестящими от счастья последнего знания глазами, — смерти нет.